



## Annotation

Настоящее издание позволяет читателю в полной мере познакомиться с творчеством французского писателя Альфонса Доде. В его книгах можно выделить два главных направления: одно отличают юмор, ирония и яркость воображения; другому свойственна точность наблюдений, сближающая Доде с натуралистами. Хотя оба направления присутствуют во всех книгах Доде, его сочинения можно разделить на две группы. К первой группе относятся вдохновленные Провансом "Письма с моей мельницы" и "Тартарен из Тараскона" — самые оригинальные и известные его произведения. Ко второй группе принадлежат в основном большие романы, в которых он не слишком дает волю воображению, стремится списывать характеры с реальных лиц и местом действия чаще всего избирает Париж.

---

- [Альфонс Доде](#)
  - [Госпожа Гертбиз](#)
  - [Любовный символ веры](#)
  - [Транстеверинка\[1\]](#)
  - [Певец и певица](#)
  - [Недоразумение](#)
  - [Отрывок из письма женщины, найденного на улице Богомотари-на-полях](#)
  - [Вдова великого человека](#)
  - [Признания академического мундира](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)

---

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

**Альфонс Доде**

**Жены художников**

# Госпожа Гертбиз

© Перевод М. Вахтеровой

Уж она-то, конечно, не для того была создана, чтобы стать женой художника, особенно такого буйного, порывистого, необузданного сумасброда со странной, звучной фамилией Гертбиз, который шел своим путем, ни с чем не считаясь, с гордо поднятой головой, лихо торчавшими усами, дерзко бросая вызов нелепым условностям и мещанским предрассудкам. Каким чудом, какими чарами эта маленькая кокетка, выросшая в лавке ювелирных изделий, за гирляндами нанизанных золотых колец и цепочек для часов, сумела обворожить поэта?

Представьте себе миловидную продавщицу — неопределенные черты лица, заученная улыбка, холодные глаза, спокойные приветливые манеры. Вместо подлинной элегантности — пристрастие к блестящим, мишурным украшениям, развившееся, вероятно, у сверкающей витрины отцовской лавки, умение подобрать в тон платью атласный бант, пояс, пряжку; и ко всему этому искусно причесанные у парикмахера, лоснящиеся от помады волосы, обрамляющие упрямый низкий лоб, гладкий лобик без единой морщинки, что свидетельствовало не столько о молодости, сколько о полном отсутствии мыслей. Именно такой ее увидел Гертбиз, влюбился, посватался и, как жених со средствами, без труда получил ее в жены.

Ее прельщала мысль выйти замуж за человека с именем, известного писателя, который мог доставать ей сколько угодно билетов в театр. Его же, вероятно, пленили в ней жеманные манеры, губки бантиком, оттопыренный мизинчик — словом, показной шик модной продавщицы, который бедняга считал высшим образцом парижского изящества, ибо он родился крестьянином и, несмотря на весь свой ум, в сущности, таковым и остался.

Соблазненный домашним уютом, тихим семейным счастьем, которого так долго был лишен, Гертбиз провел два года вдали от друзей, за городом, где-то в окрестностях Парижа. Огромный город манил его издали и пугал, точно посланных врачами на побережье слабых больных, которые боятся моря и вдыхают целебный морской воздух лишь на расстоянии нескольких миль. Время от времени за его подписью появлялись заметки в газетах, статьи в журналах, но в них уже не было той свежести стиля, того кипучего красноречия, которые пленяли нас прежде. Мы думали: «Он слишком счастлив... Счастье вредит его творчеству».

Потом однажды он снова появился среди нас, и мы увидели, что он далеко не счастлив. На его побледневшем, осунувшемся лице залегли горькие складки, пылкая горячность перешла в нервную раздражительность, громкий, раскатистый смех звучал фальшиво и натянуто — словом, он стал совсем другим человеком. Слишком гордый, чтобы сознаться в своей ошибке, он никогда не жаловался, но старые друзья, перед которыми снова раскрылись двери его дома, вскоре убедились, что, женившись, он совершил чудовищную глупость и вконец загубил свою жизнь. Зато г-жа Гертбиз, напротив, после двух лет замужества осталась точно такой же, какой мы видели ее в церкви, в день свадьбы. Та же спокойная, жеманная улыбка, та же кокетливость по-праздничному разряженной лавочницы; только самоуверенности у нее прибавилось. Теперь она любила поговорить. Когда Гертбиз, затеяв горячий спор об искусстве, пылко отстаивал свои категорические суждения, кого-то беспощадно громил, кого-то восторженно превозносил, супруга внезапно перебивала его приторным, фальшивым голосом, изрекая, всегда невпопад, какую-нибудь вздорную мысль, какую-нибудь пошлую глупость. Смущенный, сконфуженный хозяин, взглядом прося нас о снисхождении, пытался возобновить прерванную беседу. Но вскоре, не выдержав ее беспрестанных, несносных возражений, обескураженный глупостью этой надутой пустышки с птичьими мозгами, он умолкал, предоставляя ей выболтать все до конца. Однако его молчание только раздражало супругу, казалось ей обидным и унижительным. Ее кисло-сладкий голосок становился визгливым, она нападала, язвила, жужжала, как назойливая муха, до тех пор, пока Гертбиз, выйдя из себя, не раздражался грубой бранью.

После этих непрерывных ссор, обычно кончавшихся слезами, она всякий раз чувствовала себя успокоенной, освеженной, как трава после дождя, а он — разбитым, больным, неспособным ни к какой работе. Мало-помалу утихла даже его бурная вспыльчивость. Как-то вечером, при мне, когда г-жа Гертбиз после одной из таких тягостных сцен с торжествующим видом вышла из-за стола и ее муж наконец поднял поникшую голову, я прочел на его лице неопишное презрение, неопишную ненависть. Весь красный, со слезами на глазах, с горькой, страдальческой усмешкой, он смотрел вслед жене, и лишь только жеманная куколка вышла из комнаты, громко хлопнув дверью, он, точно школьник за спиной учителя, состроил ей ужасную гримасу, полную ярости и муки. И тут я услышал, как он глухо пробормотал:

— Ох, не будь ребенка, удрал бы я отсюда на край света!

К несчастью, у них был младенец, чудесный мальчишка, грязный и чумазый; он ползал по двору, копался в земле, играл с пауками и с собаками больше него ростом. Мать не обращала на него внимания и только вздыхала: «Фу, какой противный!»-сокрушаясь, что не отдала его на воспитание кормилице. Она сохранила все привычки продавщицы, а потому их неряшливая, неубранная квартира, по которой она с утра слонялась без дела в шикарных платьях и умопомрачительных прическах, напоминала столь любезную ее сердцу комнату при магазине, темную, закопченную, душную конуру, куда хозяева забегают урывками, пока нет покупателей, чтобы наспех проглотить невкусный завтрак на столе без скатерти, все время прислушиваясь, не зазвонит ли колокольчик за дверью. В их пошлом мире главный жизненный интерес — это улица, многолюдная улица, где проходят покупатели, прогуливаются фланеры, — где по воскресеньям тротуары и мостовую наводняет пестрая, праздничношатающаяся толпа. Можно себе представить, как бедняжка изнывала в деревне, как тосковала по шумному Парижу. Гертбизу, напротив, чтобы сохранить ясность духа, необходима была деревенская тишина. Париж оглушал его, как растерянного приезжего провинциала. Супруга не могла этого понять и горько жаловалась на скучную, уединенную жизнь. Чтобы развлечься, она приглашала в гости прежних подруг. И, если мужа не было дома, они бесцеремонно рылись в его бумагах, рассматривали заметки, начатые рукописи.

— Погляди, душенька, до чего смешно... И он еще запирается на ключ, чтобы написать такую чепуху! Бродит из угла в угол, бормочет себе под нос... Право же, я ничего не понимаю в его писанине!

И тут начинались бесконечные жалобы, горькие сожаления о прошлом.

— Если б я знала раньше!.. Подумать только, ведь я могла выйти замуж за Оберто и Фажона, торговцев бельевым товаром...

Она всегда называла обоих компаньонов сразу, как будто собирался выйти замуж за вывеску. В присутствии мужа она не стеснялась. Приставала к нему, мешала заниматься, затевала у него в кабинете громкую болтовню с подругами о всяких пустяках, не считаясь с его работой. Эти бездельницы презирали писательское ремесло, приносящее так мало дохода, в их глазах самый напряженный умственный труд походил на праздные мечтания.

По временам Гертбиз пытался вырваться из этой угнетающей обстановки, становившейся с каждым днем все нестерпимее. Он убегал в Париж, снимал комнату в гостинице, собирался снова зажить холостяком,

но тоска по сыну, страстное желание обнять ребенка в тот же вечер тянули его домой. В таких случаях, чтобы избежать семейной сцены, он приволил с собой кого-нибудь из приятелей и старался задержать их у себя как можно дольше. В обществе друзей его блестящий ум вновь пробуждался, ему вновь приходили на память замыслы прежних работ, которые он одну за другой постепенно забрасывал. Зато когда гости уезжали, Гертбиз впадал в тоску. Всеми силами старался он удержать друзей, хватаясь за них с отчаянием утопающего. С какой грустью он провожал нас до остановки маленького омнибуса, отвозившего пассажиров из пригорода в Париж! И какой медленной, вялой походкой, сгорбившись, уныло опустив руки, возвращался домой по пыльной дороге, прислушиваясь к затихающему вдали стуку колес!

Оставаться с женой с глазу на глаз становилось для него все невыносимее. Чтобы избежать этого, он устраивал так, что у него в доме всегда было полно народу. Пользуясь его добросердечием, легкомыслием, безволием, его окружали всякого рода паразиты из числа писателей — неудачников. Целая орава литературных прихлебателей, лентяев, свихнувшихся чудаков прижилась у него в доме, где все они распорядились по-хозяйски. А так как жена его была непроходимо глупа и не умела разбираться в людях, они казались ей гораздо интереснее и умнее мужа, потому что громче орали. Вся жизнь проходила в бесплодных спорах и пересудах. Это был неудержимый поток пустословия, трескучих фраз, напыщенных речей, и среди этого гвалта несчастный Гертбиз сидел молча и неподвижно, усмехаясь и пожимая плечами. Случалось, впрочем, что во время долгого обеда, когда гости, бесцеремонно облокотившись на стол, заводили за бутылкою водки бесконечную нудную болтовню, одуряющую, как табачный дым, его охватывало невыразимое отвращение, и, не решаясь выгнать вон весь этот сброд, он сам уходил из дому и пропадал на целую неделю.

— Мой дом полон дураков, — сказал он мне однажды. — Я просто боюсь туда возвращаться.

При таком образе жизни он почти перестал писать. Имя его редко появлялось в печати, а состояние постепенно таяло, расхищалось бандой попрошаек, кормившихся за его столом.

Мы давно уже с ним не видались, как вдруг однажды утром я получил весточку, написанную его милым мелким почерком, когда-то таким четким, а теперь неровным и дрожащим: «Мы в Париже. Зайди навестить меня. Я смертельно скучаю». Он поселился вместе с женой, ребенком и собаками в мрачной маленькой квартирке в Батиньоле. Беспорядок их домашней



обстановки был еще заметнее в этой тесноте, чем в просторном деревенском доме, ребенок возился с собаками на полу, в крошечных, как клетушки, комнатах, а Гертбиз лежал на кровати совсем больной, в полном изнеможении, повернувшись лицом к стене. Супруга его, как всегда расфуфыренная, как всегда невозмутимая, не обращала на него внимания.

— Не знаю, что с ним такое, — сказала она мне, небрежно махнув рукой.

При виде меня больной на минуту оживился, засмеялся своим прежним добродушным смехом, но вскоре сник и замолчал. Семья сохранила в Париже деревенский обычай гостеприимства, и поэтому, несмотря на тесноту, недостаток средств и болезнь хозяина, к завтраку, как обычно, явился один из паразитов, плешивый, потрепанный, желчный, ворчливый человек, которого называли у них «тот, кто прочитал Прудона». Под этим прозвищем Гертбиз, вероятно, даже не знавший его имени, представлял его гостям. Когда знакомые спрашивали: «Кто это такой?» — он отвечал с убеждением: «Это серьезный ученый, он прочитал всего Прудона». Как ни странно, мудрый философ высказывался только за столом, недовольно ворча, что жаркое недожарено или соус не удался. В то утро человек, прочитавший Прудона, сердито заявил, что завтрак никуда не годится, хотя это не помешало ему сожрать львиную долю кушаний.

Каким долгим и мучительным показался мне этот завтрак у постели больного! Хозяйка по обыкновению болтала без умолку, успевая при этом дать шлепка сынишке, бросить кость собакам, мило улыбнуться философу. Гертбиз ни разу не повернулся к нам лицом, а между тем он не спал. Не знаю даже, думал ли он о чем-нибудь... Несчастный, благородный друг!

Беспрестанная, безнадежная борьба с мелочами жизни сломила его могучую натуру, и он начал медленно угасать. Эта молчаливая агония, или, вернее, постепенная утрата воли к жизни, тянулась несколько месяцев; затем г-жа Гертбиз стала вдовой. Вскоре, так как ее светлые глаза не потускнели от слез, гладкие, лоснящиеся волосы были по-прежнему тщательно причесаны, а Фажон и Оберто все еще оставались холостыми, она вышла замуж за Оберто и Фажоца. Не то за Фажона, не то за Оберто, а может быть, и за обоих вместе. Как бы то ни было, она наконец-то вернулась к той жизни, для которой была создана, к пустой болтовне и вечной кокетливой улыбке модной продавщицы.

## Любовный символ веры

© Перевод М. Вахтеровой

Она всегда мечтала быть женой поэта!.. Но неумолимая судьба вместо бурного романтического счастья, рисовавшегося ей в девичьих грезах, обрекла ее на мирную, спокойную жизнь, выдав замуж за богатого буржуа в Отейле, довольно пожилого, но славного и благодушного; единственной его страстью, вполне простительной и безобидной, была страсть к садоводству. С утра до вечера почтенный супруг, не выпуская из рук садовых ножниц, подстригал кусты, ухаживал за розами, обогревал теплицы, поливал цветочные клумбы. Согласитесь сами, что совсем не этого жаждало ее бедное сердечко, томившееся по возвышенной, идеальной любви. Тем не менее целых десять лет ее жизнь тянулась ровно и однообразно, как прямые, усыпанные песком дорожки в их саду, и она покорно гуляла по ним размеренным шагом, с тоскою прислушиваясь к непрерывному, надоедливому лязгу садовых ножниц, подстригавших ветки, или к монотонному шуму воды, когда ее муж поливал из лейки свои пышные цветники. Как истый садовод, он заботился о жене не менее бережно и педантично, чем о тепличных растениях. Неукоснительно измерял температуру в заставленной букетами гостиной, оберегал молодую женщину от апрельских заморозков и от мартовского солнца, распределял весь ее день по часам, следя за показаниями барометра и за фазами луны с той же методичностью, с какой выносил из оранжереи и вносил обратно кадки с цветами.

Так она долго жила взаперти, в четырех стенах мужнина сада, непорочная, как лилия, но по временам ее страстно влекло на свободу, она мечтала об иных садах, не таких скучных и симметричных, о заброшенных садах, где кусты роз никто не подстригает, где дикие травы выше деревьев, где под знойным солнцем расцветают на приволье неведомые, причудливые цветы. Увы, такие сады существуют лишь в фантазии поэта, а потому она упивалась чтением стихов, тайком от почтенного ботаника, который признавал только двустишия из календаря:

Коль в день Медарда дождь идет,  
И через месяц он польет.

Бедняжка с жадностью, без разбора глотала стихи самых пошлых поэтов, лишь бы там встречались рифмы на «любовь» и «страсть». Потом, закрыв книжку, погружалась в мечты, томно вздыхая: «Вот бы мне такого мужа!»

Все это, вероятно, осталось бы в области туманных грез, если бы на тридцатом году, в возрасте столь же критическом, переломном для женской добродетели, как полдень — переломный час для погоды, она не встретила на своем пути неотразимого Амори. Амори — модный салонный поэт, один из тех экзальтированных фатов в черном фраке и жемчужно-серых перчатках, какие появляются на светских вечерах между десятью часами и полночью и при свете люстр, в меланхоличной позе облокотись на камин, изливают в стихах свои любовные восторги, разочарования, безумства, а прелестные дамы в бальных платьях, собравшись в кружок, жадно слушают, обмахиваясь веером.

Среди стихоплетов подобного рода Амори мог бы сойти за идеал. Лицо приказчика с роковым профилем, глубоко запавшие глаза, томная бледность, расчесанные по-русски волосы, густо намазанные венгерской помадой... Это именно тот тип разочарованного мечтателя, какой обожают дамы, лирик с охладевшими чувствами, всегда одетый по последней моде; лишь небрежно повязанный галстук обличает в нем своеволие художественной натуры. Стоит посмотреть, какой он имеет блистательный успех, когда декламирует нараспев пронзительным голосом отрывки из своей поэмы «Любовный символ веры», особенно тот, что оканчивается такой удивительной строкой:

Как в бога веруют, я верую в любовь!..

Признаться, я сильно подозреваю, что этому кривляке нет никакого дела до бога, как и до всего прочего, но ведь женщины не слишком-то проницательны. Их легко поймать на удочку чувствительных слов. Ручаюсь вам: всякий раз как Амори читает нараспев свой «Символ веры» в блестящем кругу светских дам, их розовые ротки невольно раскрываются и сами тянутся к сладостной приманке. Еще бы, подумать только! Поэт с такими изящными усиками, да еще верует в любовь, как верует в бога!..

Жена почтенного садовода не могла устоять. Она сдалась после третьей встречи. Однако из присущего ей чувства гордости и чести мечтательная дама не захотела пойти на пошлую тайную связь. К тому же сам поэт в своем «Символе веры» заявлял, что признает лишь

всесокрушающую страсть, когда любовники шествуют с гордо поднятой головой, бросая вызов закону и обществу. И вот, приняв за руководство «Любовный символ веры», молодая женщина сбежала от мужа, очертя голову бросилась из тихого отейльского сада в объятия поэта. «Я не могу больше жить с этим человеком! Увези меня на край света!» В подобных случаях мужа всегда называют *этот человек*, даже если это безобидный цветовод.

В первую минуту Амори оторопел. Какого черта! Кто мог вообразить, что тридцатилетняя замужняя женщина примет всерьез его любовную поэму, поймет в буквальном смысле его пылкие излияния? Тем не менее он благосклонно принял нежданно свалившееся на него счастье и, увидев, что в укромном саду Отейля дамочка сохранила свежесть и красоту, похитил ее без всяких разговоров. Первые дни все шло прекрасно. Им приходилось скрываться под вымышленным именем, переезжать из одной гостиницы в другую, искать пристанища на отдаленных окраинах, в предместьях Парижа, на станциях окружной дороги. По вечерам беглецы украдкой выходили на воздух, совершали сентиментальные прогулки вдоль крепостного вала. Как романтично, как упоительно! Чем больше она трепетала от страха, прячась за шторами, скрывая лицо под густой вуалью, тем более необыкновенным и великим казался ей поэт. По ночам, растворив окошко спальни, они вдвоем любовались звездами, восходящими над железнодорожными фонарями. Красотка заставляла своего избранника вновь и вновь скандировать пламенные строки:

Как в бога веруют, я верую в любовь!..

И таяла от восхищения.

К несчастью, это длилось недолго. Супруг почему-то оставлял их в покое. Что вы хотите? Этот человек был философом. После побега жены он запер калитку своего зеленого оазиса и продолжал спокойно возделывать цветник, радуясь, что хоть розы-то глубоко вросли корнями в землю и никуда от него не убегут. Не опасаясь преследования, любовники возвратились в Париж, и тут бедняжке вдруг показалось, будто ее поэта подменили. Когда кончились опасности и злключения, страх погони, постоянная тревога — все, что подогревало ее страсть, она начала понимать, что произошло, и глаза ее раскрылись. К тому же в их скромном домашнем быту, в мелочах обыденной жизни она с каждым днем все ближе узнавала человека, с которым соединила свою судьбу.

Ту небольшую долю благородных, возвышенных и тонких чувств, какими наделила его природа, он целиком расточал в стихах, ничего не оставляя для себя. Он оказался мелочным, эгоистичным, а главное, невероятно скупым, чего влюбленная женщина никогда не прощает. Вдобавок он сбрил усы, и это отнюдь его не красило. Как непохож он стал на того меланхоличного, неотразимого красавца с завитыми кудрями, который в светском обществе декламировал меж двумя канделябрами свой «Символ веры»! Теперь, вынужденный по ее вине жить затворником, он перестал стесняться и дал волю своим капризам и причудам. Противнее всего была его мания вечно воображать себя больным. Что ж? Постоянно разыгрывая чахоточного, можно и вправду поверить в свою болезнь. Кто бы подумал, что поэт Амори целыми днями глотает микстуры, натирается мазью, ставит компрессы, загромождая камин склянками и порошками? Некоторое время его подруга усердно исполняла при нем роль сестры милосердия. В самоотверженных заботах о больном она находила оправдание своему проступку, видела цель жизни. Но вскоре ей это надоело. И в душной, закупоренной комнате, где брюзжал укутанный фланелью поэт, она против воли вспоминала благоухающий сад в Отейле, а добряк-цветовод среди цветущих кустов и клумб казался ей издали таким трогательным, простым, бескорыстным в сравнении с этим грубым, капризным эгоистом...

Не прошло и месяца, как она снова почувствовала любовь к мужу, не прежнюю привычную привязанность, а настоящую любовь. Однажды она написала ему длинное письмо, полное раскаянья и нежных чувств. Он не ответил. Должно быть, считал, что она еще недостаточно наказана. Тогда беглянка стала посылать письмо за письмом, унижалась, умоляла, просилась домой, клялась, что готова умереть, что не может больше жить с этим человеком. Настал черед и для любовника — теперь уж его называли этот человек! Самое удивительное, что она писала тайком от поэта, воображая, будто он все еще влюблен, и, прося прощения у обманутого мужа, боялась бешеной ревности любовника.

— Он никогда меня не отпустит! — вздыхала она.

Когда наконец, после долгих усилий, ей удалось вымолить прощение, и садовод — я же говорил, что он был философом! — согласился принять жену обратно, то свое возвращение под супружеский кров она обставила так романтично, так таинственно, что это больше походило на побег. Собственно говоря, она заставила мужа ее похитить. Раскаявшаяся жена не могла отказать себе в этом последнем приключении. Однажды вечером, когда поэт, соскучившись в уединении, щеголяя недавно отросшими

усиками, отправился в гости декламировать свой «Символ веры», его подруга упорхнула из дома и, завернув за угол, вскочила в карету, где поджидал ее старый муж. Вот как она вернулась в уютный садик Отейля, навсегда излечившись от тщеславной мечты быть женой поэта... Правда, между нами говоря, Амори был мало похож на настоящего поэта!

# Транстеверинка<sup>[1]</sup>

© Перевод Э. Шлосберг

Спектакль только что кончился. В то время, как толпа, по-разному взволнованная, хлынула на улицу, колыхаясь под светом фонарей у главного подъезда театра, компания друзей, в которой находился и я, дожидалась поэта у артистического входа, чтобы его поздравить. Его произведение не имело, впрочем, блестящего успеха. Слишком сильное для робкого и опошленного воображения современных зрителей, оно выходило за рамки подмостков, этой границы условных приличий и допускаемых вольностей. Педантичная критика заявила: «Это совсем не сценично», — а бульварные остряки, растроганные прекрасными стихами, как бы в отместку за свое волнение, твердили: «Ну, это не даст сборов!» Мы же гордились нашим другом, который смело заставил звучать и вихрем кружиться свои чудесные золотые рифмы — весь рой его поэтического улья, — вокруг искусственного и мертвящего света люстры, не побоялся вывести действующих лиц во всем их величии и простоте, не обращая внимания на оптические условия современного театра, на тусклые бинокли и слабое зрение.



Пробравшись сквозь толпу машинистов сцены, пожарных, статистов в шарфах, поэт, высокий, согбенный, приблизился к нам, зябко подняв воротник, прикрывая им жидкую бородку и длинные, тронутые сединой волосы. Он был грустен. Аплодисменты клакеров и литераторов, раздававшиеся только в одном конце зала, предвещали ему ограниченное число представлений, немногих и избранных зрителей, скорое снятие пьесы с афиши, прежде чем его имя получит признание. Когда проработаешь двадцать лет и достигнешь зрелого возраста и полного расцвета таланта, упорное нежелание толпы понять тебя вызывает усталость и безнадежность. Доходишь до того, что говоришь себе: «Быть может, они правы». Боишься, сомневаешься... Наше громогласное одобрение, наши восторженные рукопожатия несколько ободрили его. «Вы



в самом деле так думаете?.. Это действительно хорошо? Правда, я старался, как мог». И его горячие от волнения пальцы с тревогой цеплялись за наши руки. Глаза его, полные слез, искали искреннего и успокаивающего взгляда. То была молящая тоска больного, который спрашивает врача: «Скажите: ведь я не умру?» Нет, поэт, ты не умрешь! Оперетты и феерии, выдерживающие сотни представлений, привлекающие тысячи зрителей, давно будут забыты, исчезнут вместе с их последней афишей, а твоё произведение останется вечно юным и полным жизни.

Стоя на опустевшем тротуаре, мы старались убедить и приободрить его. Вдруг рядом с нами раздалось густое контральто, опошленное итальянским акцентом:

— Эй, ты, сочинитель, довольно пуэжии!.. Пойдем кушать эстуфато!<sup>[2]</sup>

И тут же толстая дама в капоре и красной клетчатой шали так грубо и деспотично подхватила нашего друга под руку, что в его лице и движениях сразу почувствовалась неловкость.

— Моя жена, — представил он ее нам и обратился к ней со смущенной улыбкой. — Не пригласить ли нам их к себе, чтобы показать, как ты готовишь эстуфато?

Польщенная в своем тщеславии — тщеславии искусной кулинарки, итальянка довольно любезно согласилась принять нас, и мы впятером или вшестером отправились с ними, чтобы отведать тушеной говядины на высотах Монмартра, где они жили.

Признаюсь, я был не прочь познакомиться с домашним бытом поэта. Наш друг с самой женитьбы жил очень уединенно, почти всегда в деревне, но то, что я знал о его жизни, подстрекало мое любопытство. Пятнадцать лет назад, весь во власти романтического воображения, он встретил в окрестностях Рима восхитительную девушку и страстно в нее влюбился. Мариа-Ассунта жила со своим отцом и кучей братьев и сестер в Транстевере, в одном из домишек, омываемых Тибром, с привязанной у стены старой рыбацкой лодкой. Однажды он увидел, как красавица итальянка, в красной юбке с плотно облегающими бедра складками, стоя босиком на песке и засучив до плеч рукава, вынимала угрей из невода, с которого стекала вода. Сверкающая чешуя в сетях, полных воды, золотистая река, пунцовая юбка, прекрасные черные глаза, глубокие и задумчивые, мечтательный взгляд которых казался темнее в лучах яркого солнца, поразили поэта, хотя и напоминали своей банальностью виньетку романса в витрине музыкального магазина. Случайно сердце девушки оказалось свободным — она еще никого не любила, кроме жирного кота, угрюмого и рыжего, тоже мастера ловить угрей, у которого шерсть

становилась дыбом, как только кто-нибудь приближался к его хозяйке.

И животных и людей — всех приручил наш влюбленный поэт. Он обвенчался в церкви транстеверинской богородицы и привез во Францию прекрасную Ассунту и ее *cato*.<sup>[3]</sup>

Ах, *povero!*<sup>[4]</sup> Ему следовало бы захватить с собой и луч римского солнца, и клочок синего неба, и живописную одежду, и тростники Тибра, и большие вращающиеся сети Понте-Ротто — словом, всю раму вместе с картиной. Его не постигло бы то горькое разочарование, которое он испытал, когда, устроившись с женой в квартирке пятого этажа на самых высотах Монмартра, увидел свою прекрасную транстеверинку щеголяющей в кринолине, в платье с оборками, в парижской шляпке, вечно съезжавшей с башни ее густых кос и принимавшей самые причудливые положения. Под холодным и безжалостным светом парижского неба несчастный скоро заметил, что жена его глупа, непроходимо глупа. В бархатистом взгляде этих чудесных черных глаз, вечно устремленных вдаль, не светилась мысль. Они блестели, как у животного, покоем здорового пищеварения или отражением солнечного света, и только. К тому же Мариа-Ассунта была груба, неотесанна, привыкла взмахом руки командовать всем мирком своей лачуги и при малейшем противоречии приходила в ярость.

Кто бы подумал, что этот прелестный рот, которому молчание придавало столь совершенную античную форму, может раскрыться для того, чтобы извергнуть неудержимый, бурный поток ругательств!

Не щадя ни своего достоинства, ни достоинства мужа, она во всеуслышание, на улице, посреди зрительного зала, затевала с ним ссоры, устраивала ему отвратительные сцены ревности. И в довершение всего — полное отсутствие художественного чутья, никакого представления о профессии мужа, о языке, приличиях, словом, ни о чем. Ее научили немного говорить по-французски, но из-за этого она позабыла итальянский и создала себе какой-то смешанный из обоих языков жаргон, в высшей степени комичный. Словом, любовная история, начавшаяся, как поэма Ламартина, окончилась, как роман Шанфлери...

После долгих стараний цивилизовать свою дикарку поэт убедился, что это напрасный труд. Человек порядочный, бросить ее он не мог, а, быть может, поэт все еще был в нее влюблен, но только он решил жить затворником, ни с кем не общаться и усиленно работать. Немногие друзья, которых он допускал к себе, вскоре заметили, что они ему в тягость, и перестали у него бывать. Таким образом, он пятнадцать лет прожил

взаперти, словно прокаженный в своей конуре...

Размышляя о его неудавшейся жизни, я смотрел на странную чету, шедшую впереди меня. Он — худой высокий, слегка сгорбленный. Она широкоплечая, плотная, шла твердой, как у мужчины, походкой, то и дело поправляя шаль, которая ее стесняла. Она была довольно весела, громко говорила, время от времени оборачивалась, чтобы посмотреть, следуем ли мы за ними, и фамильярно называла по имени тех из нас, с кем была знакома, еще более повышая голос и сопровождая слова широкими жестами, точно окликала рыбацью барку на Тибре. Когда мы дошли до их дома, привратник, взбешенный приходом шумной ватаги в столь неурочное время, не хотел пустить нас наверх. Между ним и итальянкой разыгралась бурная сцена. Мы расположились на ступенях винтовой лестницы, слабо освещенной догорающим газом, смущенные, подавленные, в нерешительности раздумывая, не уйти ли нам.

— Идем скорей наверх! — шепнул нам поэт.

Мы молча последовали за ним, а итальянка, облокотившись на перила, сотрясавшись от ее тяжести и гнева, осыпала привратника градом ругательств, в которых римские проклятия чередовались с бранными словами парижских бульваров. Какое возвращение для поэта, только что взволновавшего весь артистический Париж и еще хранившего в лихорадочно горевших глазах отблеск своей премьеры! Какое унижительное возвращение к действительности!..

Только у камина его маленькой гостиной рассеялся леденящий холод, вызванный этим глупейшим происшествием, и вскоре мы бы совсем о нем позабыли, если бы не доносившиеся из кухни громкий голос и хохот синьоры, рассказывавшей своей служанке, как она отделала этого *choulato*.

[5]

Когда стол был накрыт и ужин подан, она уселась среди нас без шали, шляпы и вуали, и я смог как следует разглядеть ее. Она уже подурнела. Широкое лицо, жирный, отвислый подбородок, жесткие седеющие волосы и в особенности вульгарное выражение рта составляли странный контраст с неизменным и банальным мечтательным выражением глаз. Опершись локтями на стол, бесцеремонная и разомлевшая, она вмешивалась в разговор, ни на минуту не выпуская из вида свою тарелку. Прямо над ее головой, на фоне жалкой обстановки гостиной, горделиво выступал из полумрака большой портрет, подписанный прославленным живописцем: то была Мариа-Ассунта в двадцать лет. Пунцовое платье, белоснежная плиссированная шемизетка, множество поддельных драгоценностей в блестящей золотой оправе чудесно оттеняли прелесть смуглого лица и

бархатистый отлив густых волос, низко спускавшихся на лоб и соединявшихся чуть заметным пушком с изящной прямой линией бровей. Как могла она при этом избытке красоты и жизни дойти до такой вульгарности!.. В то время как транстеверинка болтала, я с любопытством вопрошал прекрасные глаза, глубокие и нежные, глядевшие с портрета.

Ужин привел ее в хорошее расположение духа. Чтобы подбодрить поэта, у которого от его неуспеха, озаренного лучами славы, сердце сжималось особенно сильно, она хлопала его ладонью по спине и смеялась с набитым ртом, уверяя на своем отвратительном жаргоне, что не стоит из-за таких пустяков бросаться вниз головой с колокольни.

— Правда, *il cato*? — добавляла она, оборачиваясь к старому, скрюченному ревматизмом коту, который храпел у камина. Потом она вдруг, среди оживленной беседы, кричала мужу пошлым, грубым голосом, напоминая выстрел пиццали:

— Эй, сочинитель!.. Лампа коптит!

Несчастный поэт, смиренный, послушный, прерывал свою речь и спешил поправить фитиль, стараясь избежать сцены, которой он опасался и которую ему все же не удалось отвратить.

На обратном пути из театра мы купили бутылку хорошего вина, чтобы запить эстуфато. Всю дорогу Мариа — Ассунта благоговейно несла бутылку под шалью, а затем поставила ее на стол и не сводила с нее умиленного взгляда-итальянки любят тонкие вина. Несколько раз, опасаясь рассеянности мужа и его длинных рук, она ему напоминала:

— Не задень ботелью<sup>[6]</sup>... Ты ее разобьешь!

Наконец, уходя на кухню, чтобы выложить на блюдо эстуфато, она еще раз ему крикнула:

— Смотри, не разбей ботелью!

К несчастью, как только вышла жена, поэт воспользовался ее отсутствием, чтобы поговорить об искусстве, о театре, об успехе, и так непринужденно, с таким пылом и красноречием, что... трах! От движения, более выразительного, чем прежние, чудесная бутылка вдруг разлетелась посреди гостиной на тысячу осколков... Никогда еще я не видел такого испуга. Поэт сразу умолк и побледнел, как полотно. В тот же миг в соседней комнате загремело контральто Ассунты, и итальянка с пылающим взглядом, с гневно оттопыренной губой, вся раскрасневшаяся от жара плиты, появилась на пороге.

— Ботелья! — крикнула она грозным голосом.

Поэт робко нагнулся к моему уху:

— Скажи, что это ты...

Бедняга до того струсил, что я почувствовал, как дрожат под столом его длинные ноги...

## Певец и певица

© Перевод К. Ксаниной

Разве они могли не полюбить друг друга? Оба красивы и знамениты, оба поют в одних и тех же операх, живут каждый вечер на протяжении пяти актов той же искусственной и страстной жизнью. С огнем безнаказанно не играют. Не повторяют двадцать раз в месяц под вздохи флейты и тремоло скрипки: «Люблю тебя», — без того, чтобы не поддаться мало-помалу волнению собственного голоса. В конце концов любовь явилась им под покровом гармонии, в неожиданностях ритма, в блеске костюмов и декораций. Она проникла к ним в окно, которое открывают Эльза и Ловнгрин, наслаждаясь ночью, полной звуков и лунного света.

Приди вдохнуть благоуханье ночи...<sup>[7]</sup>

Она прокралась меж белыми колоннами балкона Капулетти, где Ромео и Джульетта медлят расстаться в мерцанье утренней зари:

Нет, то не день, не жаворонка пенье...<sup>[8]</sup>

И она бережно овладела Фаустом и Маргаритой в лунном луче, который поднимается от грубо сколоченной скамьи к ставням маленькой комнаты, среди обвитых плющом розовых кустов.

Позволь мне, о, позволь тобой налюбоваться!..<sup>[9]</sup>

Вскоре весь Париж узнал об их любви и заинтересовался ею. Она стала злобой дня. Съезжались посмотреть на эти прекрасные звезды, тяготевшие одна к другой на музыкальном небосклоне парижской Оперы. Наконец однажды вечером после восторженных вызовов, когда занавес медленно опустился в последний раз, отделив бурно аплодировавший зал от усеянной букетами сцены, где белое платье Джульетты разметало лепестки камелий, певца и певицу охватил неудержимый порыв, словно их несколько искусственная любовь ждала только волнения блестящего

успеха, чтобы излиться. Их руки сплелись; они обменялись клятвами, освященными криками «браво», которые все еще доносились из зала. Пути обеих звезд соединились.

После свадьбы они некоторое время не появлялись на сцене. Потом, когда отпуск кончился, оба вновь выступили вместе. Этот спектакль явился откровением для зрителей. До тех пор первенствовал певец. Он был старше ее, лучше знал вкусы публики, ее слабости и пристрастия, покорял своим голосом и партер и ложи. Рядом с ним певица казалась всего лишь на редкость одаренной ученицей, которой предстоит блестящая будущность; в ее совсем юном голосе, в узких, хрупких плечах было что-то угловатое. Вот почему, когда, вернувшись в театр, она выступила в одной из своих прежних ролей, и полный, великолепный звук ее голоса с первых же нот полился, чистый и обильный, как вода родника, зал был так изумлен и очарован, что весь интерес спектакля сосредоточился на ней. Для молодой женщины это был один из тех счастливых дней, когда окружающая атмосфера становится прозрачной, легкой и трепетной и доносит все лучи, все ласки успеха. Что касается мужа, ему почти забыли поаплодировать, а так как вблизи источника ослепительного света всегда ложится густая тень, он чувствовал себя точно статист, оттесненный в самый темный угол сцены. А ведь это он внушил страсть, которая появилась в игре певицы, в ее голосе, исполненном обаяния и нежности. Это он зажег огонь, светившийся в ее глубоких глазах, и эта мысль должна была бы внушить ему гордость, но тщеславие актера оказалось сильнее. После спектакля он позвал старшего клакера и разбил его. Они пропустили его выходы, его уходы, забыли вызвать в третьем акте. Он будет жаловаться директору...

Увы! Что бы он ни говорил и как бы ни старалась клака, любовь публики, завоеванная его женой, отныне так и осталась за нею. К тому же ей везло: роли ее оказывались удачно выбранными, соответствующими ее дарованию и красоте, и она выступала в них со спокойствием светской женщины, являющейся на бал в наряде тех цветов, которые ей к лицу, и уверенной во всеобщем поклонении. При каждом ее новом успехе муж хмурился, нервничал, раздражался. То, что известность бесповоротно переходила от него к ней, казалось ему какой-то кражей. Долгое время он старался скрывать ото всех, особенно от жены, это постыдное страдание. Но однажды на спектакле, когда она поднималась по лестнице в свою уборную, поддерживая обеими руками подол платья, наполненный букетами, и, вся во власти своего торжества, сказала ему голосом, еще взволнованным бурей аплодисментов: «Нас сегодня хорошо принимали», — он ответил: «Ты находишь?» — с такой иронией, такой

горечью, что молодой женщине внезапно открылась истина.

Ее муж ревновал! Но не ревностью любовника, который хочет, чтобы красота жены принадлежала ему одному, а ревностью артиста, холодной, жестокой и неукротимой. Когда певица умолкала после какой-нибудь арии и из зала к ней простирались руки, неслись шумные крики «браво», он принимал безучастный, рассеянный вид, и его отсутствующий взгляд, казалось, говорил зрителям: «Когда вы кончите аплодировать, я начну петь».

Аплодисменты... Этот стук града, который так сладостно отдается в коридорах, в зале, за кулисами!

Кто раз познал это ощущение, тот не может без него жить. Великие артисты умирают не от болезни и не от старости — они перестают существовать, когда им больше не аплодируют.

Равнодушие публики приводило певца в отчаяние. Он худел, становился озлобленным и сварливым. Как он ни убеждал самого себя, как ни смотрел прямо в глаза своему неизлечимому недугу, как ни повторял себе перед тем, как выйти на сцену: «Но ведь это моя жена... Ведь я люблю ее!..»-в искусственной атмосфере театра настоящее чувство тотчас угасало. Он все еще любил женщину, но ненавидел певицу. Она замечала это, конечно, и щадила его печальную манию, как щадят больного. Сначала она решила уменьшить свой успех — не растрчивать себя всю, не обнаруживать всю силу своего голоса, все свои данные, но ее намерения, как и намерения мужа, не могли устоять перед огнями рампы. Талант, почти независимо от нее самой, побеждал ее волю. Тогда она стала унижаться, умаливать себя перед мужем. Она обращалась к нему за советами, спрашивала, верно ли она поняла свою роль, понравилось ли ему ее исполнение.

Разумеется, он всегда был ею недоволен. Когда она имела наибольший успех, он говорил ей с благожелательным видом, тем притворно-приятельским тоном, каким обычно разговаривают между собою актеры:

— Следи за собой, детка... Что-то у тебя неважно получается... Ты не совершенствуешься...

Иногда он пытался отговорить ее от выступления:

— Будь осторожна: ты не бережешь себя... ты слишком много поешь... Не искушай судьбу. Знаешь что? Не взять ли тебе отпуск?

Он доходил до того, что придумывал всякие нелепые предлоги: то у нее насморк, то она не в голосе. Или придирался к ней из актерского тщеславия:

— Ты рано вступила в финале дуэта... Ты загубила мой эффект... Ты



сделала это нарочно...

Он не замечал, несчастный, что это он затруднял ее игру, ускорял реплики, чтобы помешать зрителям аплодировать ей, и, желая вернуть себе расположение публики, занимал весь передний план, предоставляя жене Петь в глубине сцены. Она не жаловалась — она слишком горячо любила его, к тому же успех делает человека снисходительным. А успех каждый вечер на полумрака, куда она пыталась забиться, где она пыталась стушеваться, заставлял ее вновь появляться в блеске огней рампы на восторженные вызовы публики.

В театре вскоре заметили эту странную ревность, и товарищи стали потешаться над нею. Певцу расхваливали талант его жены. Ему подсовывали напечатанную во вчерашней газете статью, в которой критик после четырех больших столбцов, посвященных звезде, уделял несколько строк почти угасшей славе мужа. Как-то раз, прочитав одну из таких статей, он вне себя от гнева, весь побледнев, вошел в уборную жены, держа в руке развернутую газету, и сказал:

— Этот человек был вашим любовником?

Он дошел уже до таких оскорблений. И несчастная женщина, окруженная всеобщим поклонением и завистью, женщина, имя которой напечатанное крупным шрифтом в афише, виднелось на каждом перекрестке Парижа, помещалось как залог успеха в витринах магазинов, на позолоченных ярлычках кондитеров и парфюмеров, влачила унылое, жалкое существование. Она не решалась взять в руки газету из боязни прочесть себе похвалу, плакала над цветами, которые ей кидали и которые она оставляла в углу своей уборной, чтобы дома не тревожить горького воспоминания о своем торжестве на сцене. Она хотела бросить театр, но муж воспротивился этому:

— Скажут, что это я заставил тебя уйти.

И жестокая пытка продолжалась для обоих.

Однажды на премьере певица ждала своего выхода на сцену. Кто-то предупредил ее:

— Будьте начеку... В зале против вас заговор.

Это рассмешило ее. Заговор против нее? За что же? Против нее, когда все к ней так расположены, когда она стоит в стороне от закулисных интриг! Однако это была правда. В середине действия, в большом дуэте с мужем, в тот момент, когда она повысила свой великолепный голос до самого верхнего регистра и заканчивала музыкальную фразу ровными и чистыми, как жемчужные ожерелья, нотами, ее внезапно прервал залп свистков. Зал был так же смущен, так же удивлен, как и она сама. Казалось,

у всех приостановилось, замерло в груди дыхание, как тот блестящий каскад звуков, который она не могла закончить. Вдруг безумная, ужасная мысль пронизала ее мозг... Муж стоял на сцене прямо против нее. Она в упор посмотрела на него и увидела, что в его глазах промелькнула злобная усмешка. Бедная женщина поняла все. Ее душили рыдания. Она залилась слезами и, ничего перед собою не видя, скрылась за кулисы...

Это муж устроил так, что ее освистали!

# Недоразумение

© Перевод М. Вахтеровой

## РАССКАЗ ЖЕНЫ

Что с ним такое? За что он злится на меня? Ничего не понимаю. Ведь я же делаю все, чтобы он был счастлив. По правде сказать, я, конечно, предпочла бы выйти замуж не за поэта, а за человека более солидной, не такой пустой профессии, например, за нотариуса или адвоката, но сам по себе он мне все-таки нравился. Он казался мне чересчур пылким, но очень милым, прекрасно воспитанным. К тому же он был довольно богат. Я надеялась, что после женитьбы стишки не помешают ему устроиться на хорошее место, и мы заживем в полном достатке. В то время я тоже была ему по сердцу. Посещая меня за городом, в доме тетушки, он не уставал восхищаться скромным убранством и порядком наших чистеньких комнат, тихих, как монастырские кельи. «Ах, как славно!..»-говорил он. Он смеялся, называл меня в шутку разными именами из поэм и романов. Признаюсь, это меня слегка коробило: я бы хотела, чтобы он был посерьезнее. Но только потом, когда мы поженились и поселились в Париже, я поняла, насколько мы с ним разные люди.

Я мечтала о светлом, уютном гнездышке, об изящной обстановке, а он сразу загромоздил нашу квартиру всяким ненужным хламом, старомодной, пропыленной мебелью, выцветшими, ветхими коврами... Вечно та же история! Подумать только: он велел вынести на чердак прехорошенькие стенные часы в стиле ампир, доставшиеся мне от тетушки, и картины в роскошных рамках-подарки пансионских подруг. Все это казалось ему отвратительным — никак не могу понять, почему. Ведь его рабочий кабинет набит всякой рухлядью: старые закопченные картины, статуэтки, на которые и взглянуть-то стыдно, поломанные антикварные безделушки, позеленевшие подсвечники, треснутые вазы, разрозненные чашки... Рядом с моим прекрасным фортепьяно палисандрового дерева он поставил низенький дрянной инструмент с облупившейся полировкой; на нем недостает половины клавиш, и он так дребезжит, что почти ничего не слышно. «Ну что ж! — говорила я себе первое время. — Должно быть, все поэты немного помешаны... Они любят только ненужные безделушки и не

ценят полезных вещей, презирают их».

Но когда я увидела его друзей — приятелей, я еще больше расстроилась. Эти длинноволосые бородачи, лохматые, дурно одетые, не стеснялись курить при мне и докучали мне своими разговорами — настолько мы с ними расходились во взглядах. Одни громкие слова, напыщенные фразы-ни простоты, ни естественности. И притом ни малейшего понятия о приличиях: они способны отобедать у вас двадцать раз подряд и не пригласить к себе, не оказать никакой любезности. Хоть бы догадались оставить визитную карточку, поднести коробку конфет на Новый год. Никогда ничего... Некоторые из этих господ были женаты и привозили к нам своих жен. Надо было видеть этих особ! Туалеты пышные, кричащие, я бы никогда в жизни так не оделась, боже упаси! Никакого вкуса, никакой гармонии: взбитые букли, длинные шлейфы. И все эти женщины бесстыдно старались блеснуть своими талантами: одни пели, точно оперные артистки, другие играли, как музыканты, и болтали обо всем на свете без всякого стеснения, как мужчины. Ну разве это прилично, скажите на милость? Разве может женщина положительная, выйдя замуж, чем-нибудь интересоваться, кроме домашнего очага? Я пыталась втолковать это мужу, когда он огорчился, что я забросила музыку. Музыка хороша для молоденьких девушек, пока они ничем другим не заняты. Но теперь, право же, мне самой было бы смешно каждый день брэнчать на фортепьяно.

Боже мой, я отлично понимаю: он не может мне простить, что я постаралась оторвать его от этой беспутной компании, спасти от вредных влияний. Он часто упрекает меня: «Вы отвадили всех моих друзей». Да, отвадила и ничуть не раскаиваюсь. Эти бездельники окончательно сбили бы его с толку. Бывало, вернувшись от них, он всю ночь напролет шагал из угла в угол, сочиняя стишки и что-то бормоча. Как будто мало у него своих странностей и чудачеств, так они еще больше его подзуживают! А сколько пришлось мне вынести от его капризов и причуд! Иной раз он вдруг влетал ко мне рано утром: «Собирайся скорее, надевай шляпку, мы едем в деревню». И приходилось все бросать — рукоделье, хозяйство, нанимать кареты, трястись в вагонах, сорить деньгами. А я-то всегда мечтала об экономии, о сбережениях! Ведь пятнадцать тысяч франков ренты не такое уж богатство для Парижа, на это трудно скопить капитал для детей. Первое время мои замечания смешили его, он пытался обратить все в шутку, потом, увидев, что я упорно стою на своем, начал сердиться; его раздражает, что у меня скромные вкусы, что я домоседка. Да разве я виновата, что терпеть не могу все эти театры, концерты, вечера, куда он

насиленно возит меня и где встречает своих прежних знакомых — сборище кутил, мотов и шалопаев?

Одно время я надеялась, что он образумится. Мне удалось отучить его от дурной компании, привлечь к нам в дом людей солидных, положительных, завязать полезные знакомства... Так нет же! Мой супруг, видите ли, затосковал. Он томился скукой с утра до ночи. На наших званных вечерах, где я устраивала и вист и чайный стол — все, как полагается, он появлялся с хмурым лицом, в отвратительном настроении. Когда мы оставались вдвоем — та же история. А ведь я была так заботлива, так внимательна! Я просила: «Почитай мне, что ты сочинил». Он декламировал стихи, длинные отрывки. Я ничего не понимала, но делала вид, что слушаю с интересом, а иной раз вставляла наугад свои замечания — на мою беду, они всегда только раздражали его. За целый год, работая день и ночь, он накопал стишков на одну только книжку, да и та осталась нераспроданной. Чтобы убедить его заняться чем-нибудь другим, более выгодным, я нарочно сказала: «Ага, теперь ты сам видишь!..» Он пришел в страшную ярость, устроил мне сцену, а потом начал тосковать и томиться, и это приводило меня в отчаяние. Мои приятельницы старались утешить меня: «Поверьте, душенька: любой мужчина скучает и раздражается, когда ничем не занят... Если бы он больше работал, он перестал бы хандрить».

Тогда и я и все мои подруги принялись хлопотать, чтобы подыскать ему место. Я пустила в ход все средства, объездила с визитами жен директоров, начальников отделений, дошла до самого министра, и все тайком от мужа. Мне хотелось подготовить ему сюрприз. Я говорила себе: «Посмотрим, что он скажет. Уж теперь — то он будет доволен!» В тот день, когда наконец пришло его назначение в роскошном конверте с пятью печатями, я сама, сияя от радости, отнесла его ему в кабинет. Впереди обеспеченная будущность, достаток, спокойная должность, полное довольство... Знаете, что он сказал? Он завопил, что никогда мне этого не простит. Изорвал письмо министра на мелкие клочки и выбежал из дому, хлопнув дверью. Ох уж эти поэты! Совсем свихнулись, бедняги, все спуталось у них в голове! Чего ожидать от такого человека? Я хотела было с ним поговорить, образумить его, но раздумала. Недаром меня предупреждали: «Это сумасшедший». Да и как я могла бы его убедить? Мы говорим на разных языках: он не понял бы меня, а я не понимаю его... Вот мы и сидим в четырех стенах и смотрим друг на друга. Я чувствую, что он меня ненавидит, и все-таки люблю его... Мне очень тяжело.

## РАССКАЗ МУЖА

Я все обдумал, все предусмотрел. Я не хотел жениться на парижанке, — парижанок я побаивался. Не хотел богатой жены, — она донимала бы меня капризами и требованиями. Избегал девушек из большой семьи, опасаясь мещанских родственных связей, которые вас опутывают, поработают, душат. Моя невеста была именно такой, о какой я мечтал. Я говорил себе: «Она будет мне обязана всем». Какое счастье воспитать по — своему это наивное дитя, открыть ей красоту искусства, посвятить чистую душу в свои надежды, в свои восторги, вдохнуть жизнь в мраморную статую!

Она и в самом деле была похожа на статую; у нее были большие серьезные глаза, правильный античный профиль и несколько суровые черты, смягченные нежным овалом юного лица с розоватым пушком на щеках и легкой тенью от высокой прически. Добавьте к этому чуть заметный провинциальный выговор, приводивший меня в умиление. Я слушал его, закрыв глаза, как сладостное воспоминание детства, как отголосок мирной жизни в далеком, давно забытом краю. Подумать только, что теперь я слышать не могу этот несносный выговор!.. Но тогда я верил в нее. Я любил, был счастлив, надеялся на счастливое будущее. Женившись, я с жаром принялся за работу, начал новую поэму и по вечерам читал моей жене написанные за день строфы. Мне хотелось всецело приобщить ее к своей жизни. Первые дни она говорила мне: «Очень мило...» — и я радовался этой ребяческой похвале, надеясь, что со временем она научится лучше понимать дело моей жизни.

Бедняжка! Должно быть, она изнывала от скуки! Прочитав стихи, я объяснял их ей, я искал и, казалось, улавливал в ее прекрасных, удивленных глазах проблеск чувства. Я просил ее высказать свое мнение и, пропуская мимо ушей всякие глупости, запоминал лишь те удачные замечания, какие случайно приходили ей в голову. Мне так страстно хотелось сделать из нее настоящую подругу жизни, жену художника!.. Но увы! Она не понимала меня. Напрасно я читал ей вслух великих поэтов, выбирая самые лирические, самые проникновенные отрывки — золотые строки любовных поэм вызывали в ней скуку, точно холодный, монотонный шум дождя. Помню, однажды, когда мы читали «Октябрьскую ночь»,<sup>[10]</sup> она, перебив меня, попросила выбрать что-нибудь «посерьезнее». Я пытался объяснить, что нет ничего на свете серьезнее поэзии, что поэзия — сущность жизни, она витает над землей, словно зыбкое пламя, в котором

слова и мысли очищаются и преобразуются. Ох, какая презрительная усмешка скривила ее прелестный ротик, каким она меня смерила снисходительным взглядом!.. Можно было подумать, будто с ней говорит ребенок или сумасшедший.

Сколько усилий, сколько красноречия я тратил понапрасну! Ничто не помогало. Я постоянно натыкался на доводы ее так называемого здравого смысла и благоразумия-вечная отговорка ограниченных умов и черствых сердец! И притом ей надоела не одна только поэзия. До нашей женитьбы я считал ее очень музыкальной. Она, казалось мне, понимала и с чувством исполняла разученные с учителем пьесы. Но, едва выйдя замуж, она заперла фортепьяно и совсем забросила музыку... Как печально видеть, когда замужняя женщина утрачивает все чары, какими пленяла вас молоденькая девушка! Реплика подана, роль сыграна, актриса сбрасывает театральный костюм. Все эти светские таланты, чарующие улыбки, изящные манеры были только для виду, напоказ, чтобы привлечь женихов. У моей жены перемена наступила сразу. Вначале я еще надеялся, что художественный вкус, понимание искусства и красоты, которые я не сумел в ней воспитать, разовьются сами собой в нашем чудесном Париже, где поневоле обостряется глаз и просвещается ум. Но что поделаешь с женщиной, которая никогда не раскроет книги, не взглянет на картину, ничем не интересуется, ничего не хочет видеть! Я понял, что моя подруга жизни будет просто хозяйкой дома, рачительной и экономной, увы! даже чересчур экономной. Жена по Прудону<sup>[11]</sup> — и ничего больше. Я бы примирился с этим — сколько художников разделяет мою участь! Но беда в том, что она не желала довольствоваться этой скромной ролью.

Мало-помалу, незаметно, исподтишка она выжила из дому всех моих друзей. В ее присутствии мы не стеснялись. Беседовали непринужденно, как в былое время. Но она не понимала наших поэтических вольностей, преувеличений, сумасбродных теорий, остроумных парадоксов, в которые облачают мысль, чтобы ярче ее оттенить, не могла оценить ни игры воображения, ни иронии. Все это ее только раздражало и сбивало с толку. Сидя в уголке гостиной, она молча прислушивалась к нашим разговорам, давая себе слово, что непременно отведит одного за другим всех этих болтунов, которые так ее шокируют. Несмотря на внешне любезный прием, у нас в доме уже чувствовался холодок, гостям давали понять, что дверь открыта и настала пора уходить.

Оттеснив моих друзей, она заменила их своей компанией. Наш дом заполнили люди тупые, скучные, чуждые искусству, глубоко презирающие поэзию, ибо она «не приносит дохода». В пику мне они нарочно называли

имена модных писак, издающих дюжинами романы и драмы: «Вот такой-то загребают кучу денег!..»

Зарабатывать деньги! Только это имело для них значение, и, как ни грустно, жена моя разделяла мнение этих болванов. Под их пагубным влиянием ее провинциальные замашки, ограниченность, мелочность выродились в невероятную скупость.

Пятнадцать тысяч франков ренты! Я всегда считал, что на это вполне можно прожить, не заботясь о завтрашнем дне. Так нет, куда там! Она вечно жаловалась, вечно долбила, что надо экономить, сократить расходы, выгоднее поместить капитал. Чем чаще она донимала меня мелочными попреками, тем больше отбивала у меня вкус и охоту работать. Порою, подойдя к письменному столу, она с пренебрежением перелистывала начатые стихи. «Только и всего!» — вздыхала она, подсчитывая, сколько часов потрачено на эти бесполезные коротенькие строчки. Если бы я послушался ее, то давно бы уронил гордое звание поэта, которого добился после стольких трудов, давно бы погряз в черном болоте низкопробной дрянной писанины. Когда я подумаю, что этой самой женщине я отдал свое сердце, посвятил все свои помыслы, а она с первых дней нашего брака начала презирать меня за то, что я не зарабатываю денег, мне, право, становится стыдно за нее и за себя.

Я не зарабатываю денег. Это объясняет все: ее укоризненные взгляды, преклонение перед пошлыми плодовитыми знаменитостями и ту недавнюю выходку, когда она выхлопотала для меня место в конторе министерства.

Но тут уж я воспротивился. Только одно мне и остается-оказывать упорное сопротивление, не попадаться на удочку, не поддаваться на уговоры. Пускай твердит одно и то же хоть целыми часами, пускай обдает меня холодным взглядом, презрительной улыбкой — я и внимания не обращаю, ей никогда, никогда меня не понять. Вот до чего мы дошли! Мы женаты, обречены жить вместе, хотя нас разделяют тысячи и тысячи миль, и мы так утомлены, настолько измучены, что и не пытаемся сделать шаг навстречу друг другу. И так пройдет вся жизнь. Это ужасно!



## **Отрывок из письма женщины, найденного на улице Богомотари-на-полях**

**© Перевод М. Вахтеровой**

...пришлось вытерпеть, когда я вышла замуж за художника. Ах, душенька, если б я только знала!.. Но ведь у девушек такие наивные понятия обо всем! Поверишь ли, что когда я читала в каталогах на выставке названия тихих улиц на окраинах Парижа, мне представлялась мирная, спокойная жизнь, посвященная работе и семейным радостям. Заранее предчувствуя, что буду ревнивой женой, я говорила себе: «Вот какой муж мне нужен. Он всегда со мной. Мы целые дни проводим вместе — он работает над картиной или скульптурой, я читаю или шью рядом с ним в его уютной, светлой мастерской». Бедная дурочка! Я и не подозревала, что такое мастерская художника и с какими подонками там можно встретиться. Глядя на статуи полунагих богинь, я никогда и вообразить не могла, что существуют женщины, настолько бесстыдные... и что я сама решусь... Иначе, поверь мне, я никогда бы не вышла замуж за скульптора. Да уж, ни за что на свете!.. Надо признаться, что все родные были против этого брака, несмотря на богатство моего жениха, на его прославленное имя, несмотря на великолепный особняк, который он строил для нас двоих. Я сама выбрала себе мужа. Он был так хорош собой, так изящен, так предупредителен! Правда, на мой взгляд, он слишком уж заботился о моих туалетах и прическах, вмешивался во всякие мелочи. «Взбей волосы повыше, вот так...», — и он бережно втыкал цветок мне в локоны с гораздо большим искусством, чем любая модистка. Такая опытность у мужчины удивительна, не правда ли? Уж это одно должно было бы меня предостеречь. Впрочем, ты увидишь сама. Слушай дальше.

Мы возвратились в Париж из свадебного путешествия. Пока я устраивалась в нашем изящном особняке, обставленном с таким вкусом, — ты же знаешь, это райский уголок! — мой муж сразу же принялся за работу-и целыми днями пропадал у себя в мастерской. Возвращаясь вечером, он с одушевлением рассказывал о своей новой скульптуре для предстоящей выставки. Он задумал изваять «Римлянку, выходящую из воды». Ему хотелось передать в мраморе легкую дрожь купальщицы, озябшей на ветру, влажную ткань, прилипшую к плечам, и еще много разных красот — я уж не помню каких. Признаюсь тебе по секрету: когда

он говорит о скульптуре, я далеко не все понимаю. Тем не менее, веря ему на слово, я поддакивала: «Это будет очаровательно...» Мне заранее представлялось, как я гуляю по аллее, усыпанной песком, любуюсь шедевром моего мужа, прекрасной белой статуей на фоне зелени, а позади кто-то шепчет: «Это жена художника...»

И вот однажды мне захотелось посмотреть, как подвигается дело с нашей римлянкой, и я вздумала неожиданно нагрянуть в мастерскую, где до сих пор мне еще ни разу не приходилось бывать. Это была моя первая прогулка по городу без мужа, и, на беду, я постаралась принарядиться как можно лучше... Войдя в палисадник и увидев, что дверь раскрыта настежь, я направилась прямо в мастерскую. Вообрази мое негодование: муж мой работал в грубой белой блузе, точно каменщик, испачканный, растрепанный, руки в глине, а перед ним на подмостках, ничуть не смущаясь, преспокойно стояла какая-то длинная дылда, почти совсем голая. Рядом на стуле валялось в беспорядке ее жалкое, грязное тряпье, стоптанные башмаки, круглая шляпка с облезлым пером. Ты сама понимаешь, милочка, что, едва взглянув на все это, я опрометью выскочила. Этьен порывался что-то сказать, удержать меня, но я с омерзением отшатнулась, отвела его вымазанные в глине руки и, еле живая, прибежала к маме. Тебе нетрудно представить себе эту картину.

— Господи боже! Дитя мое, что с тобой случилось?

Я рассказываю маме все, что видела, — в какой позе стояла эта гнусная женщина, в каком костюме. И плачу, плачу, захлебываюсь от слез... Испуганная мама старается меня утешить, объясняет, что это, должно быть, просто натурщица.

— Как? Натурщица?.. Да ведь это отвратительно!.. Мне никто об этом не говорил, когда я выходила замуж!..

Тут влетает растерянный, запыхавшийся Этьен и тоже старается убедить меня, что для художника натурщица не женщина, а всего только модель и что без модели в его работе обойтись невозможно. Никакие доводы на меня не действуют, и я решительно заявляю, что мне не нужен муж, который целые дни проводит наедине с полуголыми девками.

— Послушайте, друг мой, — говорит бедная мама, пытаясь примирить нас, — а не могли бы вы, ради спокойствия жены, заменить натурщицу манекеном?

Мой муж в ярости кусает усы.

— Нет, матушка, это невысказано.

— Но все-таки, мой милый, мне кажется... Ведь модистки, например, пользуются картонными болванками, чтобы примерять головные уборы...

Разве нельзя не только голову, но и все остальное?..

Как видно, это невозможно. По крайней мере Этьен долго убеждал нас в этом со всякими подробностями и учеными словами. Он казался при этом таким несчастным, таким расстроенным! Утирая глаза, я посматривала на него украдкой и видела, что мои слезы его глубоко огорчают. И вот после долгих, бесконечных споров было решено, что если уж нельзя обойтись без натурщицы, то она будет позировать в моем присутствии. Как раз рядом с мастерской находится небольшой чуланчик, откуда все можно отлично видеть, оставаясь незамеченной. Ты, верно, скажешь, что стыдно ревновать к какой-то уличной девке да еще устраивать сцены ревности. Но видишь ли, кисанька: чтобы судить об этом, надо самой испытать такие мучения.

Натурщица должна была прийти на следующий день. И вот, собравшись с духом, взяв себя в руки, я спряталась в каморке, поставив мужу условие, что при первом же стуке в стену он сразу прибежит ко мне. Не успел я затворить дверь, как ввалилась вчерашняя противная девица, одетая бог знает как, — подумай, она разгуливает по улице даже без белых манжеток, в какой-то драной шали с зеленой бахромой! Я сама на себя удивлялась, как я могла ревновать к подобной особе. И все-таки, милочка, лишь только я увидела, с каким бесстыдством эта дылда, сбросив шаль, скинув с себя платье, начала преспокойно раздеваться посреди мастерской, — не могу выразить, что со мной случилось. Я просто задохнулась от бешенства... и тут же постучала в стенку... Пришел Этьен. Увидев, что я побледнела и вся дрожу, он посмеялся, ласково успокоил меня и вернулся к своей работе... Теперь натурщица стояла на подмостках, полунагая, ее длинные, шелковистые волосы густой гривой рассыпались по плечам. Несмотря на ее вульгарное, потрепанное лицо, это была уже не прежняя жалкая тварь, а настоящая статуя. Сердце у меня сжалось. Но я сидела молча. Вдруг, слышу, мой муж кричит: «Левая нога!.. Левую ногу вперед!» Натурщица не понимает, тогда он подходит ближе и сам... Тут уж я выдержать не могу. Стучу. Он не слышит. Стучу громче, стучу изо всех сил. Этьен, оторвавшись от работы, прибегает рассерженный.

— Полно, Арманда!.. Будь же благоразумна!

Но я заливаюсь слезами, склонив голову ему на плечо:

— Милый, это свыше моих сил... Я не могу... не могу... — Ни слова не говоря, он возвращается в мастерскую и подает знак натурщице — мерзкая девица одевается и уходит.

После этого несколько дней подряд Этьен не заглядывал в мастерскую. Он сидел дома, со мной, никуда не выходил, даже не встречался с друзьями, был кротким, ласковым, но таким печальным!.. Как-то раз на мой

робкий вопрос: «Ты больше не работаешь?» — он коротко ответил: «Нельзя работать без модели». Я не смела настаивать, чувствуя, что сама виновата и что он вправе на меня сердиться. Однако после ласковых уговоров и разных нежностей я добилась обещания, что он вернется в мастерскую и попытается закончить статую по... — как это говорят художники? — по памяти, из головы, словом, именно так, как предлагала мама. Мне-то это казалось делом нетрудным, но он, бедняга, ужасно мучился. По вечерам он возвращался подавленный, удрученный, почти больной. Чтобы подбодрить его, я часто навещала его в мастерскую. Я каждый раз говорила: «Это очаровательно!» — хотя отлично видела, что дело ничуть не продвигается. Не знаю даже, работал ли он. Когда бы я ни пришла, он вечно курил, лежа на диване, или, катая шарики из глины, с остервенением разбивал их об стену.

Однажды под вечер, когда я с грустью разглядывала незаконченную статую бедной римлянки, которой так до сих пор и не удалось выйти из воды, мне пришла в голову странная мысль. Ведь римлянка почти так же сложена, как я. Отчего бы мне в крайнем случае...

— Что вы называете красивой линией? — спросила я вдруг.

Мой муж пустился в длинные объяснения, показывая, чего недостает его скульптуре и чего он не может закончить без модели... Бедняга! У него был такой расстроенный вид!.. И тогда, знаешь, что я сделала?.. Ну что ж, куда ни шло! Я храбро схватила валявшуюся в углу занавеску и убежала к себе в каморку. Потом, пока он, ничего не замечая, уныло смотрел на свою римлянку, я тихонько взошла и молча стала перед ним на подмостках, в той же позе и в том же одеянии, как та мерзкая натурщица... Ах, милочка, что с ним было, когда он поднял голову! Мне хотелось и плакать и смеяться. Я вся покраснела от смущения. Да еще эту проклятую кисею то и дело приходилось подтягивать. Но все равно! Этьен был в таком восторге, что я сразу утешилась. Поверишь ли, душенька, по его словам...

## **Вдова великого человека**

**© Перевод М. Вахтеровой**

Весть о том, что она второй раз выходит замуж, никого не удивила. Несмотря на свою гениальность, а может быть, именно из-за этой пресловутой гениальности, великий человек за пятнадцать лет совместной жизни вконец измучил ее дикими капризами и сумасбродными выходками, вызывавшими в Париже немало толков. В триумфальной колеснице, в которой он стремительно мчался по дороге славы, словно предвидя, что рано умрет, она покорно сопровождала его, робко забившись в уголок, со страхом ожидая толчков и ушибов. Когда она пробовала жаловаться, все, даже родные и друзья, ополчались против нее. «Уважайте его слабости, — говорили ей, — это слабости божества. Не тревожьте его, не расстраивайте. Помните: он не только ваш муж — он гений. Он принадлежит не только семье, но своему искусству, всей стране... Как знать, быть может, те проступки, в каких вы его упрекаете, вдохновили его на великие произведения?..» Однако в последние годы терпение бедной женщины иссякло, она стала возмущаться, бунтовать, устраивать сцены, так что незадолго до смерти великого человека они едва не развелись и их славное имя чуть не появилось на третьей странице скандальной хроники.

После всех невзгод несчастного брака, волнений во время болезни мужа и его скоропостижной смерти, возродившей в ее душе прежнее чувство, первые месяцы — вдовства подействовали на молодую женщину благотворно, точно летний отдых на целебных водах. Мирная, уединенная жизнь, душевный покой, налет тихой грусти придали ей необычайное очарование, и в тридцать пять лет она вновь расцвела и помолодела. К тому же траур был ей как нельзя более к лицу; она держалась с горделивым достоинством женщины, которая, оставшись одна на свете, должна с честью носить громкое имя. Она ревностно заботилась о славе покойного, той злосчастной славе, что некогда принесла ей столько горя, а теперь разрасталась с каждым днем, точно пышный цветок, взошедший на тучной земле кладбища. В длинной траурной вуали она появлялась то у театрального директора, то в кабинете издателя, хлопотала о постановке опер, наблюдала за печатанием посмертных сочинений, незаконченных рукописей, вникала во все мелочи, охраняя, как святыню, с почтительным благоговением, наследие умершего супруга.

В это время с ней и встретился впервые ее второй муж. Он тоже был музыкант, малоизвестный композитор, автор вальсов, пьес и двух небольших опер; впрочем, их роскошно изданные партитуры никогда не исполнялись и лежали нераспроданными. Молодой человек, воспитанный в богатой буржуазной семье, обладал большим состоянием, приятной наружностью, питал глубочайшее уважение к знаменитостям и взирал на них с жадным любопытством и восторженной наивностью неопытного ученика. Когда ему показали вдову прославленного маэстро, он был ослеплен. Перед ним как бы явилась сама муза во всем своем торжественном величии. Он сразу же влюбился без памяти и, как только вдова начала выезжать в свет, попросил, чтобы его ей представили. У нее в гостиной, где всюду, в каждом уголке, витал дух музыки, дух гения, страсть молодого человека еще сильнее разгорелась. Вон там бы «великого композитора, тут фортепьяно, за которым он творил, повсюду его партитуры, мелодичные даже по внешнему виду, как будто с раскрытых нотных листов лились звуки музыкальных фраз... На фоне печальных воспоминаний, точно в строгой рамке, которая очень к ней шла, еще ярче выступала вполне реальная красота молодой вдовы, и вздыхатель окончательно потерял голову.

После долгих колебаний бедный юноша решился наконец объяснить в любви, но так робко, таким униженным тоном!.. Конечно, он понимает, как мало он значит для нее. Понимает, как ей тяжело переменить свое прославленное имя на ничтожное, безвестное имя нового супруга... За этим следовало множество наивных признаний в том же роде. Разумеется, в глубине души достойная дама была весьма польщена такой победой, однако долго ломала комедию, разыгрывала женщину с разбитым сердцем, разочарованную, пресыщенную, уверяла, что жизнь ее кончена и к прошлому нет возврата. Хотя ей никогда не жилось так спокойно, как после смерти знаменитого супруга, она вспоминала о нем со слезами на глазах, с трепетом восторга. Нечего и говорить, что это только разжигало страсть бедного обожателя, делало его еще более красноречивым, еще более настойчивым.

Короче говоря, ее строгий траур окончился свадьбой. Но она не отреклась от прежней славы и в замужестве более чем когда-либо казалась вдовой великого человека — она же отлично понимала, что именно в этом секрет ее обаяния для нового супруга. Будучи значительно старше и не желая, чтобы он это замечал, она выказывала ему снисходительное презрение, обидное сострадание, делая вид, будто втайне сожалеет о неравном браке. Однако это нисколько не обижало молодого мужа,

напротив: он был глубоко убежден в превосходстве своей супруги и находил вполне естественным, что образ великого гения оставил неизгладимый след в ее сердце. Чтобы удерживать его в подчинении, она иногда перечитывала вместе с ним старые любовные письма, написанные покойным маэстро, когда тот ухаживал за ней. Этот возврат к прошлому молодил ее на пятнадцать лет, придавал ей уверенность. Упиваясь пылкими, восторженными дифирамбами страстных посланий, она вновь чувствовала себя красивой, любимой женщиной. Молодой супруг, не замечая, как она изменилась с тех пор, обожал ее, доверяясь вкусу своего предшественника, что почему-то льстило его тщеславию. Ему казалось, будто его нежным речам вторят пламенные мольбы знаменитого композитора, будто он наследует все прошлое этой великой любви.

Странная супружеская пара! Особенно любопытно было наблюдать за ними в обществе. Иногда мне приходилось встречать их в театре. Никто не узнал бы в ней ту робкую, застенчивую молодую женщину, которая некогда сопровождала маэстро, скромно теряясь в его гигантской тени. Теперь она восседала впереди, у барьера ложи, с гордо поднятой головой, привлекая к себе все взоры. Над ней как будто сиял ореол славы покойного мужа, имя которого шепотом повторяли вокруг не то с почтительным восхищением, не то с упреком. Новый супруг, с подобострастным выражением лица, точно преданный раб, сидя сзади нее, старался уловить каждый ее взгляд, предупредить каждое желание.

Странность их отношений была еще заметнее у них дома. Помню званый вечер, который они давали через год после свадьбы. Молодой хозяин суетился в толпе гостей, гордый и слегка озабоченный, что у них собралось столько народу. Жена держалась надменно, свысока, с меланхоличным видом и в тот вечер более чем когда-либо казалась безутешной вдовой великого человека. У нее была особая манера оглядываться на мужа через плечо, называя его «мой милый друг», и отдавать ему распоряжения по приему гостей таким тоном, будто он только на это и годился. Вокруг нее увивались старые друзья покойного композитора, свидетели его первых блистательных успехов, его борьбы, его триумфа. Она жеманилась с ними и сюсюкала, как маленькая девочка. Ведь они знали ее такой молодой! Почти все фамильярно называли ее просто по имени — Анаис. Это был как бы замкнутый кружок посвященных, и хозяин дома приближался к ним с опаской, почтительно выслушивая отзывы о своем предшественнике. Там вспоминали блестящие премьеры опер маэстро, сражения с критиками, которые он почти всегда выигрывал, его привычки, причуды, вспоминали, как во время работы он для вдохновения

заставлял молодую жену сидеть рядом в бальном платье, с обнаженными плечами... «Помните, Анаис?» И Анаис вздыхала, смущенно краснея...

В те годы были созданы его лучшие лирические произведения, в частности знаменитый, полный страсти любовный дуэт из оперы «Савонарола», передающий красоту лунной ночи, благоухание роз, трели соловья. Кто-то из восторженных почитателей при общем благоговейном молчании сыграл дуэт в аранжировке для фортепьяно.

Когда отзвучали последние ноты, чувствительная дама разрыдалась.

— Это свыше моих сил, — лепетала она. — Я никогда не могла слушать это без слез.

Старые друзья маэстро, утешая опечаленную вдову, подходили один за другим, точно на похоронах, чтобы выразить ей соболезнование и с чувством пожать руку.

— Полноте, Анаис, мужайтесь, дорогая!

Забавнее всего, что новый супруг, стоя рядом с нею, взволнованный и растроганный, тоже принимал соболезнования, горячо пожимая всем руки.

— Какой талант! Какой гений! — восклицал он, прикладывая платок к глазам. Это было и смешно и трогательно.



## Признания академического мундира

© Перевод А. Кулишер

Это утро сулило скульптору Гильярдену чудесный день.

Совсем недавно его избрали в академики, и сегодня ему предстояло обновить на торжественном объединенном заседании всех пяти академий свой академический мундир, роскошный мундир, расшитый гирляндами пальмовых ветвей, мундир, блиставший великолепием нового сукна и шелковистым узором цвета надежды. Вождеденный мундир лежал на кресле, широко раскинутый, словно дожидаясь, когда его наденут, и Гильярден, завязывая белый галстук, любовно посматривал на него. «Главное — не торопиться. Времени у меня предостаточно», — думал он.

Дело в том, что, сгорая от нетерпения, он начал одеваться на два часа раньше, чем следовало, а г-жа Гильярден, красавица, всегда тратившая на свой туалет чрезвычайно много времени, заявила ему, что уж в этот день она будет готова только к назначенному часу, «ни на минуту раньше... Вы меня поняли?»

Несчастный Гильярден! Чем заняться, как убить время?

«Пока что примерю мундир», — сказал он себе.

Бережно, будто касаясь тюля и кружев, он приподнял драгоценное одеяние и, с бесконечными предосторожностями облачившись в него, подошел к зеркалу.

Ах, какой милый человек смотрел на него! Какой приятный, свежеиспеченный академик: низенький, толстенький, довольный, улыбающийся, седоватый, с брюшком, с короткими ручками, движениям которых вышитые обшлага придавали какую-то неестественную, нарочитую важность!

Явно удовлетворенный своей наружностью, Гильярден расхаживал перед зеркалом, раскланивался, словно шествуя по залу заседаний, улыбался своим собратям по искусству, принимал величественные позы. Но, как ни гордись своей особой, невозможно два часа простоять в парадной форме перед зеркалом. В конце концов наш академик устал и, боясь измять мундир, решил снять его и бережно положить на прежнее место. Сам он уселся напротив, по другую сторону камина, и, вытянув ноги, скрестив руки на парадном жилете, не спуская глаз с зеленого мундира, предался приятным размышлениям.

Как путешественник, достигший наконец цели своих странствий, любит вспоминать опасности и трудности пройденного пути, так Гильярден мысленно перебирал год за годом, свою жизнь с того дня, когда он впервые занялся ваянием в мастерской Жуффруа.<sup>[12]</sup> Тяжко дается начало тем, кто избрал эту проклятую профессию!.. Он вспоминал зимы в нетопленной комнате, ночи без сна, долгие хождения в поисках работы, глухую ярость, которую испытываешь, сознавая себя ничтожным, затерянным, безвестным в той огромной толпе, что теснит тебя, толкает, сбивает с ног, давит насмерть. И подумать только, что он сам, своими силами, не имея ни покровителей, ни состояния, сумел пробиться! Только благодаря своему таланту, милостивые государи!.. Запрокинув голову, полузакрыв глаза, предавшись сладостному созерцанию, почтенный г-н Гильярден вслух несколько раз повторил:

— Только благодаря своему таланту. Только благодаря своему та...

Его прервал чей-то громкий смех, сухой и дребезжащий-так смеются старики. Гильярден удивленно оглянулся. Он был один, совершенно один, с глазу на глаз со своим зеленым мундиром, распластанным против него, по другую сторону огня. И, однако, дерзкий смех не умолкал. А когда скульптор пригляделся поближе, ему стало казаться, что мундир уже не на том месте, куда он его положил, а сидит в кресле: фалды раздвинуты, рукава опираются о подлокотники, грудь приподымается, словно в ней трепетала жизнь.

Что за чудо! Мундир смеялся...

Да, это он, удивительный зеленый мундир, заливался неудержимым смехом, и смех колыхал его, сотрясал, подбрасывал, заставлял крючиться, взмахивать фалдами, время от времени прижимать оба рукава к бокам, как бы для того, чтобы унять вспышку веселости, буйной и сверхъестественной. А чей-то тоненький лукавый голосок между взрывами хохота пищал:

— Боже мой, боже мой! Сил больше нет смеяться! Сил больше нет смеяться!

— Черт возьми! Да кто же это наконец? — вытаращив глаза, спросил бедный академик.

Все тот же голосок еще более ехидно и лукаво пропищал:

— Да ведь это я, господин Гильярден, ваш расшитый пальмами мундир, я жду вас, чтобы отправиться вместе на заседание. Простите, что я так не вовремя прервал ваши размышления, но уж очень смешно было слушать, когда вы говорили о своем таланте. Я не в силах был сдержать себя... Скажите: неужели вы это всерьез? Неужели вы в самом деле

думаете, что вашего таланта было достаточно, чтобы так быстро сделать карьеру, подняться так высоко, получить все, что вы имеете: почести, положение, славу, богатство?.. Неужели вы считаете это возможным, Гильярден? Загляните в себя, друг мой, прежде чем дать мне ответ, загляните поглубже. А теперь отвечайте! Видите? Вы не решаетесь.

— Но ведь я... — пробормотал Гильярден с забавным смущением, — я много работал...

— Да, много, невероятно много. Вы труженик, неутомимый работник, кропатель. Вы считаете свою работу по часам, как кучера наемных карет. Но божественная искра, друг мой, золотая пчелка, которая залетает в мозг подлинного художника, пронизывая его сиянием и трепетом своих крыльев, посетила ли она вас когда-нибудь? Ни разу, вы сами это знаете. Вы всегда боялись этой чудесной пчелки. А ведь истинным талантом одаряет она одна. О, я знаю людей, которые трудятся не меньше вас, но иначе, чем вы, со всем пылом, со всеми терзаниями подлинных искателей и которым никогда не добиться того, что досталось вам. Давайте, пока мы одни, поговорим начистоту: весь ваш талант заключается в том, что вы женились на красавице.

— Милостивый государь! — гневно воскликнул Гильярден.

Голосок продолжал все так же невозмутимо:

— Вот это славно! Ваше негодование мне нравится. Оно убеждает меня в том, что, впрочем, знают все: вы скорее дурак, чем подлец. Полноте, не смотрите на меня так гневно! Во-первых, если вы ко мне притронетесь, хотя бы только изомнете или чуть порвете, нельзя будет явиться на заседание, и госпожа Гильярден будет недовольна, а ведь, по правде сказать, вся честь этого великого дня принадлежит ей. Это ее сейчас будут приветствовать пять академий. Ручаюсь вам, что если бы при моем появлении в академии я облегал не ваш, а ее стан, все еще прямой и прекрасный, несмотря на возраст, успех у меня был бы совсем иной... Черт возьми, господин Гильярден, надо же отдавать себе отчет в положении вещей! Этой женщине вы обязаны всем: особняком, годовым доходом в сорок тысяч франков, орденами, лаврами, медалями.

И зеленый мундир пустым расшитым рукавом указал жестом калеки злосчастному скульптору на свидетельства его славы, развешанные по стенам алькова.

Затем, словно изоцряясь во всевозможных позах, чтобы окончательно истерзать свою жертву, жестокосердый мундир приблизился к камину и с таинственным видом, по-стариковски подавшись вперед в своем кресле, заговорил со скульптором фамильярно, словно с добрым приятелем:

— Послушай, дружище! Тебя как будто огорчает все, что я тебе рассказываю. Но должен же ты наконец узнать то, что известно всем! А кто тебе это откроет, если не твой мундир? Посуди сам, что у тебя было, когда женился? Ровным счетом ничего. Что жена принесла тебе в приданое? Ни гроша! Как же ты объяснишь, что у тебя теперь кругленький капитал? Ты опять скажешь, что много работал. Но, несчастный, даже трудясь день и ночь, при всех тех милостях, всех тех правительственных заказах, в которых у тебя, разумеется, не было недостатка со времени твоей женитьбы, ты никогда не зарабатывал больше пятнадцати тысяч франков в год. Неужели ты воображаешь, что этого было достаточно для такого дома, как ваш? Подумай: ведь красавица госпожа Гильярден всегда считалась образцом светской женщины, всегда вращалась в тех кругах, где сорят деньгами... Я знаю, что, корпя с утра до ночи в мастерской, ты никогда над этим не задумывался. Ты ограничивался тем, что говорил своим друзьям: «Моя жена — изумительная женщина, она необычайно умело ведет наши дела: из моих заработков, при нашем широком образе жизни, она еще умудряется выкраивать сбережения».

Ах, бедняга, бедняга!.. Правда заключается в том, что ты женился на одной из тех очаровательных чудовищ, каких не мало в Париже: на женщине честолюбивой и безнравственной, положительной, когда дело касается тебя, и легкомысленной, когда дело касается ее самой, на женщине, отлично умеющей сочетать заботу о ваших материальных интересах со своими любовными похождениями. Жизнь этих женщин, милый мой, похожа на бальную записную книжку, где рядом с именами танцоров значились бы цифры. Твоя жена рассудила так: у моего мужа нет ни таланта, ни состояния, ни даже представительной внешности. Но он превосходный человек — доверчивый, снисходительный, и ни в чем меня не стесняет. Пусть он не мешает мне веселиться, а я берусь доставить ему взамен все, чего ему не хватает. И с этого дня деньги, заказы, ордена всех стран дождем посыпались в твою мастерскую, с приятным металлическим звоном, с ленточками всех цветов. Полюбуйся на мою «коллекцию»!

Потом в одно прекрасное утро г-же Гильярден пришла в голову блажь, блажь перезрелой красавицы, — стать супругой академика, и ее ручка в изящной перчатке открыла тебе, одну за другой, все двери в это святилище... Эх, старина! Твои коллеги могли бы рассказать, во что тебе обошлись пальмовые веточки твоего мундира...

— Ты лжешь, ты лжешь! — крикнул Гильярден, задыхаясь от негодования.

— Нет, нет, дружище, не лгу... Тебе стоит только оглянуться вокруг

себя, когда ты войдешь в зал. В глазах присутствующих ты уловишь затаенное лукавство, в уголках их губ — скрытую насмешку, и при твоём появлении все будут шептать: «Вот муж красавицы госпожи Гильярден». Дело в том, дорогой мой, что ты всю жизнь будешь только мужем красавицы жены...

Тут уж Гильярден выходит из себя. Бледный от ярости, он вскакивает с места, чтобы сорвать с дерзкого болтливого мундира красивую зеленую гирлянду и швырнуть в огонь, как вдруг открывается дверь и хорошо знакомый голос, в котором слышатся пренебрежение и кроткая снисходительность, как нельзя более кстати пробуждает его от страшного сна.

— Ах, как это на вас похоже! Заснуть у камина в такой день!..

Перед ним стоит г-жа Гильярден, высокая, все еще красивая, хотя несколько отяжелевшая; у нее почти естественный розовый цвет лица, подведенные глаза блестят. Жестом женщины, привыкшей повелевать, она берет мундир с пальмовыми ветвями и проворно, с едва приметной улыбкой, помогает мужу надеть его, а бедняга, еще весь в поту от своего кошмарного сна, облегченно вздыхает и думает про себя: «Какое счастье! Это был сон!»

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://Royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

---

---

<b>notes</b>
--------------

## **Примечания**

Транстеверинка — жительница римского района Транстевере (буквально «Затибрье»), квартала бедняков, расположенного на правом берегу Тибра.

2

Тушеную говядину! (итал.).



3

Сато- кот (искаженное итальянское слово gaito).

4

Бедняга (ит.).

5

Мужлана (итал.).

**6**

Ботелья-бутылка (искаженное итальянское слово *bottiglia*).

первые слова арии Лоэнгина из второй сцены третьего акта оперы Вагнера «Лоэнгрин» (1845–1848).

слова из дуэта Ромео и Джульетты в четвертом акте оперы Гуно «Ромео и Джульетта» (1867).

слова из дуэта Фауста и Маргариты в третьем акте оперы Гуно «Фауст» (1859).

поэма Альфреда де Мюссе (1836).



Прудон выступал противником равноправия женщин, отводя им роль хозяйки и матери.

Жуфруа, Франсуа (1806–1882) — второстепенный французский скульптор академической школы.